

# СОЗВУЧИЯ

Т. А. КАСАТКИНА

(Москва)

## Антихрист у Гоголя и Достоевского

Соображения, которыми я хочу поделиться, не претендуют ни на какую окончательность выводов и формулировок. Моим желанием было только посмотреть, как описывали черты антихриста — загадочнейшей фигуры в метаистории человечества — два русских писателя, по ряду обстоятельств своей жизни и черт своей личности наиболее обращенных к этой проблеме. Поэтому все, что я буду говорить об антихристе, условно — в том смысле, что это в лучшем случае черты, присущие антихристу, как его понимал тот или другой писатель. И все-таки мне хотелось бы надеяться, что есть в предлагаемых размышлениях и что-то более окончательное, чем отражение индивидуального восприятия этого образа в отдельном литературном произведении.

Обращенность к «последним вопросам», осознанная как отличительная черта русского менталитета вообще, с большой силой сказалась в творчестве таких писателей, как Гоголь и Достоевский. В исследовании Мережковского «Гоголь и черт» сказано, что, в сущности, черт был темой Гоголя на протяжении всего его творчества. И действительно, начиная с «Вечеров...» перед Гоголем постоянно стоит проблема проникновения зла в этот мир, причем зло это — зло персонифицированное. Если даже просто посчитать количество обозначений нечистой силы на страницу «Вечеров...», результат получается очень впечатляющий. Сам Гоголь формулировал свою проблематику так: «Уж с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом»<sup>1</sup>. Однако в «Ревизоре» самому Гоголю видится что-то не смешное вовсе, но «чудовищно-мрачное», «необыкновенно-страшное»<sup>2</sup>. Есть основание предположить, что в гоголевской пьесе мы встречаемся не с чертом, как считал Мережковский, но с антихристом<sup>3</sup>.

Антихрист ведь не «змей», не сатана, но ставленник сатаны, «зверь», явившийся победителем в «последние времена», в неуследимый миг перед пришествием Христовым. В сущности, так же, как является Хлестаков между известием о предстоящем приезде ревизора и сообщением жандарма о его действительном прибытии.

Антихрист — ставленник «князя мира сего», и Хлестаков возводится в ранг «ревизора» миром сим, создающим себе судью по меркам своим, по желанию своему.

Главное свойство Хлестакова, подчеркиваемое всеми, в том числе и автором, — пустота — свойство и антихриста. Если Христос заключает в себе *все*, то антихрист объемлет мир пустой оболочкой, заявляя хлестаковскими устами: «Я везде, везде» (сцена хвастовства). Свойство Христа заключать в себе *все* (а потому и возможность для каждого увидеть себя в Христе) спародирована антихристом. Его пустота — это пустота зеркала, отражающего каждую глядящуюся в него физиономию, *обре-тающего* именно физиономию того, кто в данный момент в него смотрится. В этой связи иной смысл обретает и эпиграф к гоголевской пьесе. Хлестаков — как бы зеркало, отражающее все неблаголепие, всю фантастическую извращенность мира, которым он «поставлен на царство», в котором он занял не принадлежащую ему роль судьи. Интересно, что и провозглашают его ревизором Петры Ивановичи — карикатуры, отражения друг друга. Двойники делают его двойником истинного судьи.

Если Христос является *всем*, то антихрист виден *каждому*, Христос вершит суд над всеми, антихрист обольщает каждого в отдельности. Это есть в «Ревизоре» в сцене дачи взяток. Гоголевские чиновники почувствовали, что к Хлестакову лучше заходить «представляться» и выслушивать замечания по своим ведомствам — по одному. Образ неподкупного судьи преобразуется в образ судьи не только покупающегося, но даже требующего, чтобы его купили. Таков судья, желанный этому миру.

Если Христос изначально велик, Он — *все*, то антихрист питается и растет от обращенных на него взглядов, получает значение от *вкладываемого* в него соблазненными значения. Так растет и Хлестаков в сцене хвастовства.

И как истинный антихрист, он покидает соблазненный им мир, оставляя его раскрывшимся во всей своей неприглядной наготе — перед лицом истинного судьи. Покидает с насмешкой и улюлюканьем (письмо к «душе Тряпичкину»).

Суть концепции Гоголя в том, что мир создает себе судью по своему образу и подобию и соблазняется им, раскрываясь

в последней своей наготе, бесстыдно «заголяясь и обнажаясь», ибо судья оказался таков же и одобрил то, что все еще в глубине души считалось каждым неправедным. Антихрист провоцирует последнее разоблачение мира.

В «Вечерах...» и «Миргороде» зло впускает в мир человек, оборотившись к нему. Для того, чтобы Вий отыскал Хому Брута, тот должен взглянуть ему навстречу. Человеку: оставляется возможность выбора, возможность не ответить взглядом на взгляд, «не расшатать границ мира»<sup>4</sup>. Но в «Ревизоре», когда мир уже порождает своего князя из себя самого, «расшатанность границ» — шатость понятий — такова, что все подпадают под власть ими созданного князя. Жители города, стремящиеся найти правду у Хлестакова, говорят ему: «Возьми все, помоги только», — и не предполагая уже, что истинный судья неподкупен. Гоголевский мир подпадает антихристу окончательно. И не случайно следующий этап — это ад — «Мертвые души», где живыми уже оказываются только умершие, то есть вырвавшиеся из ада. Только после смерти в мире «Мертвых душ» у человека обнаруживается наличие живой души (похороны прокурора).

\* \* \*

Если для Гоголя напряженность мира изначально возникает между Богом и дьяволом, а человек может только (что очень немало!) обернуться к тому или другому, то Достоевскому, кажется, более, чем Гоголю, знакома была мысль: чтобы создать напряжение земной жизни, движение во времени, энергию существования, иного полюса Богу, кроме человека, не требуется. Антихрист Достоевского — это человек, обезбоженный и обожевленный. Пожалуй, наиболее законченное воплощение этот тип получил в образе Николая Всеволодовича Ставрогина.

Даже имя Ставрогина указывает на некоторое *qui pro quo*: Николай — имя особо почитаемого на Руси святого, означающее, кроме всего прочего, «победитель народа», Ставрогин — «крестоносец», Всеволодович — «володеющий всем». Таким образом, идея Петра Степановича Верховенского — сделать из Ставрогина «Ивана-царевича», самозванца — как бы имманентна образу.

Выросший под знаком «вековечной тоски», открывающей двери в дурную бесконечность пустоты, он, казалось бы, тем не менее обладает огромной созидательной силой. Он множит свой лик, дробит его в «созданных» им героях. Но они оказы-

ваются устойчивее своего творца. Его «создания» обретают твердость истинного бытия, а он, в своей игре масками, в результате оказывается, опять-таки, всего лишь пустым зеркалом, обретающим подобие жизни лишь в те минуты, когда что-то отражает. Не удивительно, что сон его похож на смерть — каменная неподвижность, пустота чистого зеркала — когда он сам по себе, вне общения с *человеком*.

Христос пришел явить Себя миру. Антихрист скрывается, чтобы явиться. «Мы скажем, что он скрывается», — это одна из самых глубоких задумок Петра Степановича о самозванце. Антихрист обречен скрывать свою внутреннюю пустоту, и, с другой стороны, это единственно возможный способ его существования: отражение чужого лица, маска не только прячут, но и обеспечивают его бытие, отграничивая его от мира, замыкая его пустоту в некоторые границы, давая ему оформление. Поэтому Ставрогин поражает воображение каждого из своих «созданий», оборачиваясь к нему маской, соответствующей лицу глядящего (причем иногда он не только угадывает, но и *предугадывает* это лицо, создает в человеке идею, более всего свойственную его типу восприятия мира (Шатов, Кириллов) — то есть как бы «допроявляет» его лицо в зеркале). Здесь не надо обольщаться — это «допроявление» — всегда искажение и замутнение; замутнение чистых источников, бьющих в человеке по воле Бога, искажение *лица* — лицом. Недаром все его «создания» воспринимают друг друга как «помешанных», «одержимых», с «отравленным мозгом» (Шатов о Кириллове).

Однако Ставрогин вызывает отторжение, возмущение, неприятие, когда пытается показаться своим «созданиям» со своим лицом. Он начинает определяться сугубо отрицательно: «не Князь» (Марья Лебядкина), «не верующий» (Шатов), «не сильный человек» (Кириллов). Ставрогин — постоянный «Гришка Отрепьев» — любой лик, под которым он мог бы явиться, не его лик.

Интересно, что Бог также определяется апофатически, но там это — в силу превосходства над каждым качеством, превращающего качество в недоступное для человеческого восприятия. Но если результат апофатического определения Бога — «Бог — это *другое*», то здесь это — ничто, то есть чистая отрицательность, на которой все заканчивается.

Лиза Тушина была так дорога Ставрогину, потому, что ему на минуту показалось, что она любит его самого и что он наконец найдет свое положительное определение в этой любви. Именно поэтому он так разочарован и раздражен, когда пони-

маст, что и она «ладьей соблазнилась», то есть тоже полюбила его личину, выдуманную Петром Степановичем, полюбила «Ивана-царевича».

Дашина же любовь исключительно страдательна, она слишком принимает его таким, каков он есть, чтобы он мог надеяться получить от нее какое-то положительное содержание своему существованию, которое он сам определяет чисто отрицательно (последнее письмо к Даше). За это он ее временами и ненавидит — за полное прощение и приятие всего, а значит — за неспособность поставить границы его субъективности. Об этом свидетельствует его вопрос Даше: «Если бы я тебя позвал после Федькиной лавочки, ты бы пришла?» — и когда она с болью и страданием уходит, не отвечая на его вопрос, он подытоживает: «Придет и после лавочки <...> Сиделка!» (10; 231).

Разоблаченный, обнаруженный в своей пустоте, Ставрогин кажется смешон и нестрашен, но по разным причинам, казалось бы, внешним и посторонним, ни один из вступивших с ним в тесный контакт не переживает его разоблачения. Нужно также отметить, что Тихон всячески удерживает его от публикации «Исповеди», предчувствуя от его разоблачения страшные последствия. Видимо, есть что-то, почему антихрист может быть повержен только Христом и сменен Им, иначе же открывается та пустота, которую не в силах перенести человек. Может быть, эта попытка Ставрогина явиться со «своим лицом» (то есть без отраженного лика — «без-ликим») и есть вовлечение людей в вечно отверзтую в нем пустоту, бездну бесконечной субъективности, отторгающей от всего общего, а значит — от *всего*. Герои Достоевского, в отличие от гоголевских персонажей, узнают самозванца и отрекаются от него, хотя и платятся за это жизнью. Однако городом Ставрогин тоже принят как спаситель; исправления, излечения мира ожидают от того самого человека, играми которого мир был расшатан. (Интересны и конкретные, детальные совпадения: пароды в Апокалипсисе (в интерпретации Достоевского, данной в главе о Великом инквизиторе) восклицают: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» (14; 230). После дуэли с Гагановым и истории с Шатовым Ставрогина в городе воспринимают как «звезду» среди молодежи; он как бы принес новый свет идеальной строгости понятий.)

\* \* \*

Таким образом, антихрист создается этим миром (миром расшатавшимся, миром перевернутых понятий) — у Гоголя, или является расшатанному миру — у Достоевского — именно тогда, когда возникает необходимость в суде и правде, когда «ищут, кому поклониться», забыв о свете истинном. Переиначивая черты Христа так, что они становятся наиболее приемлемы для «сломанного мира», Зверь получает абсолютную власть и ставит мир и каждого в мире на грань отчаяния — как известно, самого страшного греха. Но если в мире Гоголя следствием этого является Страшный суд (в буквальном смысле *страшный* — и для героев и для автора), осуществляемый истинным Ревизором, то у Достоевского отчаяние преодолевается «светом истинным» вновь обретенного Евангелия (Степан Трофимович перед смертью) и светом любви друг к другу героев, собравшихся вокруг умирающего Степана Трофимовича — то есть выполнением двух заповедей Христовых.

Таким образом, в мире Достоевского и уход от Бога, и возвращение к Нему осуществляются самим человеком и *только человеком*, без соблазнительей и других помощников, кроме света Христова откровения. В мире Гоголя человек поставлен между соблазнителем и судьей и может только выбирать и быть наказанным за неправильный выбор. В мире Достоевского от человека требуется напряженность чувства («холоден или горяч») — и тогда он в конце концов спасен, несмотря ни на какие свои заблуждения. Для Гоголя вопрос стоит в иной плоскости — необходим правильный выбор для того, чтобы был спасен мир и человек. По сути, Гоголь тем самым лишает человека данной ему свободы, ибо, как пронизательно заметил Н. Бердяев, «когда я стою перед необходимостью выбора, у меня совсем нет чувства свободы»<sup>5</sup>. Если Достоевскому всегда слышались слова Ангелу Лаодикийской церкви, то перед Гоголем как бы стояли буквально понятые слова Ангелу церкви Сардикийской: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя» (Ап. 3: 3). Может быть, именно поэтому все страшнее становилось жить Гоголю, и все больше света впереди видел Достоевский.

- <sup>1</sup> Письмо Шевыреву из Неаполя от 23 апреля 1847 г. Цит. по: *Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Исследование. М., 1906. С. 1.*
- <sup>2</sup> *Гоголь Н. В. Развязка «Ревизора» // Полн. собр. соч. Л., 1951. Т. 4. С. 126.*
- <sup>3</sup> Насколько мне известно, это предположение было в свое время высказано несколькими людьми независимо друг от друга. Я его впервые услышала от М. Б. Тимошевского.
- <sup>4</sup> Подобный взгляд на творчество Гоголя был изложен в трех лекциях о Гоголе, прочитанных М. Б. Ладыгиным в МГПИ им. Ленина весной 1985 г.
- <sup>5</sup> *Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 52.*